

A young man with dark, wavy hair and a serious expression is the central focus. He is dressed in a dark blue, high-collared coat over a brown vest and a patterned necktie. He holds a quill pen in his right hand. The background is a dimly lit, ornate interior, possibly a library or a study, with other people in period clothing visible in the background.

**Анатолий Шигапов**

**Ученик  
Заступник 1.0.**

Анатолий Шигапов  
**Ученик Заступник 1.0.**

«Автор»

2026

## **Шигапов А.**

Ученик Заступник 1.0. / А. Шигапов — «Автор», 2026

«Адвокат - не тот, кто говорит, а тот, кто ходит ногами». Меня зовут Александр Зарецкий. Год назад я стоял у ворот Иверской часовни и выбирал между карьерой чиновника и адвокатурой. Мать хотела спокойной старости. Я хотел защищать. Мой учитель, Фёдор Плевако, сказал: «Сострадание без мысли - яд». Я проверял факты, рыдал над самоварами и дышал пылью архивов. Я выиграл двенадцать дел. Я проиграл три. Я отдал последние деньги лжецу и купил показания предателя. Но самое страшное случилось потом: люди в сером пальто упрятали моего брата в психушку, а семья единственной женщины, которую я не смог спасти, погибла целиком. Теперь я еду в город Грандалинск. Там правит человек, чье имя нельзя произносить вслух. Я не знаю, вернусь ли. Но если вы держите эту книгу, значит, я хочу, чтобы вы поняли: закон без милосердия - тирания. А милосердие без закона - хаос.

© Шигапов А., 2026

© Автор, 2026

# Анатолий Шигапов

## Ученик Заступник 1.0.

Предисловие к первой книге

Эта книга - о том, почему один человек решает помогать другим.

Не ради денег. Не ради славы. Не потому, что его об этом попросили. А потому, что однажды он увидел: мир устроен так, что у сильных есть всё, а у слабых - ничего, даже права на собственную боль.

Он мог бы выбрать спокойную жизнь. Казённый стол, зелёное сукно, жалованье, пенсия. Мать была бы довольна. Никто не угрожал бы ему по ночам. Никто не подсылал бы к его порогу людей в серых пальто. Но он выбрал другое. Потому что есть вещи, которые нельзя купить за спокойствие. И одна из них - чувство, что ты не прошел мимо.

Помогать - не значит быть святым. Помогать - не значит знать все ответы. Чаще всего это значит - ошибаться. Верить тем, кто тебя обманет. Тратить последние деньги на экспертизу, которая не понадобится. Слышать, как захлопывается дверь перед твоим носом. Получать отказ от судьбы, который уже заранее знал решение. Стоять у свежей могилы и понимать, что ты опоздал.

Но помогать - это еще и видеть, как в глазах человека, у которого отняли всё, зажигается что-то похожее на надежду. Это - слышать «спасибо» от старухи, которую не посадили в тюрьму за украденный чайник. Это - вытаскивать брата из психиатрической лечебницы, куда его упрятали за то, что он посмел требовать пенсию. Это - понимать, что ты не бог, не спаситель, не герой. Ты просто тот, кто не отвернулся.

Почему люди помогают другим? Психологи говорят об эмпатии. Религия - о любви к ближнему. Философы - о категорическом императиве. Но на самом деле, наверное, всё проще. Помогать начинаешь тогда, когда однажды чувствуешь чужую боль как свою. Когда видишь, что закон, который должен защищать, превратился в дубину в руках сильного. Когда понимаешь, что если не ты - то никто.

В этой книге нет идеальных героев. Есть человек, который учится быть адвокатом - не по учебникам, а на ошибках, на предательствах, на бессонных ночах. Он проигрывает дела, которые, казалось бы, невозможно проиграть. Он покупает показания свидетеля, который продает его на суде. Он верит слезам игуменьи, которая оказывается виновной. Он отдает последние деньги старику, чья история оказывается ложью. Каждое поражение - это урок. Каждый урок записан в тетрадь, которая становится его совестью.

Но он не сдаётся. Потому что, кроме поражений, есть и победы. Маленькие, почти незаметные. Солдатка Марфа, которая не пошла в тюрьму. Вдова Пуговкина, которая осталась в своей квартире. Дьякон, которому вернули честное имя. Двенадцать выигранных дел за год. Двенадцать человек, которым стало чуть легче дышать.

И все же однажды он понимает: победы в отдельных делах - это не решение. Пока система, которая плодит несправедливость, остается нетронутой, новые жертвы будут появляться каждый день. Секретарь суда будет покупать дома на непонятные деньги. Пристав будет «терять» протоколы. Судья - выносить решения в пользу тех, кто платит. А адвокат - вычерпывать воду из тонущей лодки, не заделывая пробоину.

И тогда он принимает решение. Не мстить. Не бежать. А идти туда, где принимаются законы. Где решается, кому жить хорошо, а кому - плохо. Потому что помогать можно по-разному. Можно латать раны. А можно менять хирурга.

Эта книга - первая из трех. В ней - начало пути. Двенадцать дел. Двенадцать уроков. И человек, который учится быть не просто адвокатом, а - человеком.

Потому что помогать другим - это не профессия. Это выбор. Который каждый делает сам.

*Анатолий Шигапов*

## Глава 1. Первый день

Александр Зарецкий стоял у Иверских ворот, сжимая диплом так, что картон хрустнул под пальцами. Ноябрьский ветер с Неглинной лез под шинель, леденил запястья, забирался за воротник. Но холоднее всего было в груди - там, где последние три ночи не спали, перебирая доводы, будто чётки. Выбор лежал поперёк горла, словно рыба кость: госслужба - казённое присутствие в Нижнем, стол под зелёным сукном, жалованье, спокойная старость матери. Или к Плевако - в Москву, в кабалу, в безвестность.

Он видел себя за канцелярским столом: перекладываешь бумаги, ставишь штампики, вечерами - карты с сослуживцами, разговоры о повышениях, о пенсии. Честно, сытно, скучно. А мать будет довольна. Аграфена Петровна всю жизнь тянула его одна, держалась за любую копейку, штопала чулки до дыр, мыла полы у чужих людей, чтобы сын мог учиться. Она имела право на покой. Но что-то внутри кричало: «Защищать!» Не бумажки перебирать - говорить, стоять рядом с тем, кого давят обстоятельства, возвращать веру в справедливость.

Он вспомнил, как на втором курсе случайно попал на выездную сессию окружного суда. Дело было мелкое: старую крестьянку Агафью обвиняли в краже мешка овса у помещика. Свидетелей не было, улики - шаткие. Прокурор, молодой человек с университетским значком, обличал лениво, по бумажке. А защитник, пожилой присяжный поверенный с усталыми глазами, вдруг поднялся и заговорил не о праве - о жизни. Он сказал: «Господа присяжные, у этой женщины четверо внуков, которых она поднимает одна. Муж убит на войне, сын в солдатах, дочь умерла родами. Она взяла овёс не для продажи - для каши детям. Я не прошу вас нарушать закон. Я прошу вас увидеть человека». И присяжные, хмурые мещане и купцы, заплакали. Старуху оправдали. Зарецкий сидел на скамье, и в горле стоял ком. Он тогда понял: вот что значит - защищать. Не оправдывать преступление, а показать, что за протоколом, за статьёй - живой человек, со своей болью и правдой. С того дня он больше не думал о других профессиях.

Теперь, стоя у Иверских, он снова переживал тот момент, но к чистому воспоминанию примешивался страх: а вдруг он не сможет так же? Вдруг его эмоции, его сострадание - не сила, а слабость? Профессор, давая рекомендацию, сказал: «Способен к анализу, но излишне эмоционален. В суде это может подвести». Зарецкий тогда обиделся, а теперь, в холодном ноябре, чувствовал правоту этих слов.

Однокурсник, круглолицый Петелин, хлопнул по плечу, вырвав из мыслей. От Петелина пахло табаком и дешёвым одеколоном.

- Сашка, ты бы в присяжные поверенные, с твоим-то нюхом. Говорят, Плевако вон орёт, как лев, а ты тихий - всех усыпишь и выиграешь. Шучу. Но правда, чего тебе в чиновниках кинуть? Там без связей ходу нет. А в адвокатах - талант нужен.

Зарецкий выдавил улыбку. У Иверских часовни уже ждала мать, Аграфена Петровна. Она стояла, ссутулившись, в тёмном платке, завязанном по самые брови, и распутывала узелок с пирожком. Маленькая, сухая, с натруженными, красными от стирки руками. Плакала она скупно, по-крестьянски - не лицом, а плечами, которые мелко вздрагивали. Зарецкий подошёл, обнял её, чувствуя, как под ватной кацавейкой бьётся частое, больное сердце.

- Саша, иди на коронную службу. Там кормят, я стара, мне подвиги твои ни к чему. Живи тихо. Женишься, внуков понянчу.

- Я не хочу бумажки перекладывать, мама. Я хочу защищать, - слова вышли хрипло, точно он оправдывался за несовершенный грех.

Она отстранилась, заглянула ему в лицо. Глаза у неё были выцветшие, голубые, как старая эмаль. Она словно хотела что-то сказать, но не решалась. Наконец поджала губы, молча перекрестила, сунула ему в руку тёплый пирожок. Уже отойдя на несколько шагов, бросила через плечо:

- Тогда иди к Плевако. Второго шанса я тебе не дам.

И пошла, не оборачиваясь, быстрым, почти молодым шагом.

Почему именно Плевако? Он не спросил. Всю жизнь мать роняла имена, как случайные пуговицы, - но каждая потом оказывалась пришита к судьбе. Так было с дядей, о котором она обмолвилась лишь раз: «Твой дядя в солдатах пропал». И только позже, роясь в старых бумагах, Зарецкий наткнулся на письмо без подписи, где говорилось о ссылке за участие в студенческом бунте. Так было с отцом, которого он не помнил: «Ушёл и не вернулся». Соседи шептались, что его забрали за долги и сгинул он где-то на строительстве железной дороги. Может, и Плевако - из этих тайных нитей.

Вечером в своей каморке, снимаемой у старой вдовы на Пресне, Зарецкий зажёл сальную свечу и сел на скрипучую кровать. Комната была крошечная: кровать, стол, сундук с книгами, в углу - икона Богородицы с потускневшей позолотой. Он перебирал бумаги. Диплом с отличием, похвальный лист за сочинение по римскому праву, та самая рекомендация профессора. Он перечитал её и горько усмехнулся. «Излишне эмоционален». Сейчас, перед шагом в неизвестность, он ощущал эту эмоциональность как проклятие. Но в то же время знал: именно она привела его к Плевако. Что-то внутри твердило: «Только там ты научишься превращать слабость в силу».

Аграфена Петровна заглянула в дверь - она жила в соседней комнате, отгороженной ситцевой занавеской.

- Саша, спой, что ли. Ты ведь соловьём заливался раньше. Помнишь, как на Пасху «Христос воскрес» выводил?

- Не хочется, мама.

- Оттого и не хочется, что думаешь много. А ты меньше думай, а больше делай. Защитник нашёлся... - Она покачала головой и скрылась за занавеской.

Зарецкий остался один. Он вдруг ясно понял: мать уже всё решила. Плевако - не случайность. Почему-то вспомнилась старая, пожелтевшая газета, которую он нашёл в её сундуке года три назад. «Присяжный поверенный Плевако оправдал крестьянку, обвинявшуюся в поджоге». Тогда мать вырвала газету из рук, покраснела и спрятала. Может, та крестьянка - она сама? Может, отсюда и странное благословение? Эта мысль была как удар тока, но Зарецкий отогнал её: слишком невероятно. И всё же ниточка осталась.

Он долго сидел без сна, глядя на огонь свечи. Представлял контору Плевако, строгого наставника, первого клиента. Страх мешался с восторгом. Он дал себе слово: не подвести. Ни мать, ни ту старуху из суда, ни самого себя.

Утром он стоял на пороге дома Плевако на Большой Дмитровке. Сердце колотилось где-то у горла. Дверь была тяжёлая, дубовая, с медной ручкой в виде львиной головы. Он взялся за неё, перекрестился мысленно и вошёл.

Приёмная встретила его запахом мокрой овчины, сургуча, табака и кислого кваса. Просторная комната с низким потолком, тёмные стены, завешанные гравюрами судебных сцен. Вдоль стен - длинные лавки, и на них, плечом к плечу, сидели просители. Купец в лисьей шубе, нервно теребящий шапку, - видимо, с вексельной тяжбой. Молодая баба в платке, прижимающая к груди спящего младенца, - лицо измученное, глаза красные от слёз. Отставной генерал без эполет, с орденской планкой, прямой как палка, - глядел в стену с выражением оскорблённого достоинства. Старик-еврей с длинной седой бородой, в залатанном лапсердаке, что-то шептал себе под нос. Атмосфера была густая, тревожная, все ждали, как на исповеди, и каждый боялся, что его не выслушают.

Зарецкий невольно стал прикидывать: с чем пришли эти люди? Купец, верно, судится с компаньоном; баба - может, солдатка, муж сгинул, имущество отбирают; генерал - наверное, земельный спор; старик - выселение из доходного дома. Он поймал себя на мысли, что уже

примеряет на себя роль адвоката, ищет возможные линии защиты, мысленно задаёт вопросы. Это немного успокоило.

Секретарь, горбоносый старик в очках, с лицом, изрытым оспой, молча провёл Зарецкого без очереди. По приёмной прокатился лёгкий ропот, но никто не посмел возразить.

Кабинет поразил. Стол завален бумагами так, что не видно дерева, на подоконнике - остывший чай с лимонной коркой, в углу - чучело филина с жёлтыми стеклянными глазами. На стенах - полки с книгами, не только юридическими: Зарецкий заметил томик Пушкина, Библию, какие-то медицинские атласы. Запах - пыль, воск, немного лекарств. Фёдор Никифорович Плевако сидел, положив ноги в стоптанных сапогах на стопку дел. Был он грузен, с крупной головой, седеющей бородой, но глаза - живые, быстрые, как у наборщика, оценивающего рассыпанную кассу. Он окинул вошедшего взглядом: рост, плечи, руки, линия подбородка. Ничего лишнего.

- Курс окончили?

- Да.

- Вторым. - Не спросил, констатировал. - Первый - кто понимал, второй - кто учился. Садитесь.

Зарецкий сглотнул. «Вторым». Значит, Плевако уже навёл справки. Это пугало и одновременно внушало уважение.

Плевако протянул синюю папку.

- Дело купца Басова. Обвинение в мошенничестве с векселями. У вас четверть часа. Потом скажете, какую линию защиты вы бы избрали. Время пошло.

Зарецкий углубился в бумаги. Дело было запутанным: векселя подписаны задним числом, свидетели противоречили друг другу, бухгалтерские книги пухли от приписок. Но одна деталь зацепила глаз: купец Басов - единственный кормилец семерых детей, мал мала меньше. Сердце ёкнуло. Он уже представлял, как присяжные плачут, слушая о голодных сиротах, как прокурор умолкает, пристыжённый. Картинка вышла яркая, почти живая. Он мысленно выстроил речь: «Господа присяжные, за этим человеком стоят дети, которым он - единственная опора...»

Ровно через пятнадцать минут он выпрямился:

- Я бы давил на сострадание. Показать, что за этим человеком стоят дети, что тюрьма разорит всю семью...

Плевако перебил без тени улыбки, голосом резким, как удар:

- Вы не в церкви, Зарецкий. Присяжные страдают один раз, потом устают. Ваша линия - пустая. Вам кто дал право рисковать свободой клиента, играя на жалости? Посмотрите сюда. - Он ткнул пальцем в ведомость. - Чернила на подписи расплылись только в одном месте, где стоит фамилия Басова. А на других бумагах за тот же день - ровные. Это улика: чернила были сырыми, когда документ подшивали. Значит, подпись поставили позже. Подлог. Вот ваша линия. Думать надо не сердцем, а головой. Сердце потом приложите.

Зарецкий почувствовал, как краска заливает щёки. Он даже не заметил чернила! Вместо фактов - эмоциональная картинка. Стыд обжёг горло. Он вдруг увидел себя со стороны: восторженный мальчишка, готовый проливать слёзы, но не умеющий видеть простейших улик. Захотелось провалиться сквозь землю.

Плевако смягчился, откинулся на спинку кресла. Голос стал тише:

- Вы не первый, кто ошибается. Но запомните: сострадание без мысли - это яд. Для адвоката и для клиента. Хотите помогать - учитесь видеть то, что скрыто. А теперь идите в приёмную, там ждут. Скажите секретарю, чтобы выдал договор.

Зарецкий вышел, кусая губы. Контракт, подсунутый секретарём, он читал долго и внимательно. Жалованья не будет полгода. Спать в конторе. Выходной - воскресенье, и то если нет дела. И пункт, который заставил его замереть: в случае проигрыша он теряет право на

самостоятельную практику в Московской губернии на год. Ловушка. Но странным образом эта суровость успокоила: Плевако не торгуется, не обещает благ, он требует полной отдачи. И Зарецкий подписал, чувствуя, как кончик пера царапает бумагу. «Лучший способ учиться - быть должным», - повторил он про себя.

Когда заселялся в каморку при конторе - крошечную комнату с железной койкой, столом и умывальником, - под кроватью нашёл забытый кем-то блокнот. Полистал: записи судебных речей, пометки о свидетелях, выписки из законов. На последней странице - фраза, выведенная писарским почерком с нажимом: «Поверил в свою способность читать людей. Гордыня. Наказан. Ф.П.». Зарецкий вздрогнул. Плевако? Ошибка? Он отложил блокнот, но фраза засела в памяти, как заноза. Может, и его собственная самонадеянность - того же корня? Он вспомнил, как уверенно предложил линию на жалость, даже не проверив детали. Гордыня? Да, гордыня.

До вечера он разбирал старые папки, знакомился с делопроизводством. Плевако иногда проходил мимо, бросал короткие указания: «Эти два дела - тренировочные. Третье - солдатка - настоящее. Не спешите». Зарецкий кивал, но мысли возвращались к блокноту. Если сам Плевако ошибался и признавал это, значит, цена ошибки в этой профессии - судьба человека. И значит, он, Зарецкий, должен научиться ошибаться как можно меньше.

Он снова вышел в приёмную - она уже опустела, только секретарь раскладывал папки. Зарецкий попросил разрешения взглянуть на регистрационные книги. Тот неохотно разрешил. Зарецкий пролистал записи за последние месяцы: сотни дел, от убийств до мелких краж. Мелькали фамилии, адреса, статьи. Он чувствовал, как огромный, сложный мир права приоткрывает перед ним свою дверь. И в этом мире он - пока лишь робкий ученик.

Ночь опустилась на Москву. Зарецкий сидел в своей каморке, но сон не шёл. Мысли крутились вокруг блокнота, вокруг слов Плевако, вокруг того давнего процесса со старухой Агафьей. Тогда он был просто зрителем, а теперь сам должен стать тем, кто говорит. И он вдруг испугался: а вдруг не получится? Вдруг он так и останется «вторым», который только учился, но не понял?

Он встал, накинул шинель и прошёл в кабинет Плевако. Тот не запирает двери - странная черта для человека, имеющего столько врагов. Кабинет при лунном свете казался таинственным. На столе громоздились папки, чучело филина поблёскивало стеклянными глазами. Зарецкий наугад вытащил одну - старую, с потёртым корешком. Дело мещанки Сидоровой, обвинённой в поджоге. Плевако проиграл. В материалах - записка, приколотая булавкой: «Поверил свидетелю. Не проверил его долги. Женщина осуждена на 5 лет. Моя вина». Дальше - пометка другим почерком, более поздним: «Через год нашёл настоящего поджигателя. Свидетеля - на каторгу. Сидорову освободили. Но год её дети жили в сиротстве».

Зарецкий закрыл папку. Сердце колотилось. Он представил тех детей, одних, без матери, в холодной квартире, возможно, голодных. И человека, который мог им помочь, но ошибся, потому что поверил не тому. Вот она, цена гордыни. Теперь понятно, почему Плевако так жёстко говорил о проверке фактов. Этот шрам он носит в себе.

Он аккуратно поставил папку на место и отошёл к окну. Москва за стёклами жила своей ночной жизнью: где-то лаяли собаки, скрипел снег под шагами запоздалого прохожего, вдалеке прозвонил колокол на пожарной каланче. Зарецкий думал о матери. Если та крестьянка из газеты - действительно она, то Плевако когда-то спас её от тюрьмы. Может, и свою ошибку он искупил, защитив другую беззащитную. Тогда понятно, почему мать направила его сюда. И если так, то долг Зарецкого - не подвести и её, и Плевако, и всех, кого он когда-либо будет защищать.

Он зажёл свечу и раскрыл свою тетрадь - чистую, купленную на последние деньги. Вывел на первом листе: «Урок №1: ищи чернила, а не слёзы». Подумал и приписал: «Урок №2: гордыня сострадания - самый незаметный грех». Перечитал и остался недоволен: слишком пафосно. Но оставил как есть - пусть напоминает. Потом добавил третью запись, уже без

номера: «За каждым делом - живые люди. Ошибиться нельзя. Надо проверять всё, даже если очень хочется верить».

Утром, когда Плевако пришёл, Зарецкий уже сидел за столом с тремя папками. Верхние - банкротство и наследство - он разобрал за час. Там были формальные вопросы: расчёт долговой массы, права кредиторов, очереди наследования. Он применил холодный анализ, как учили, и справился. Нижняя, тощая, с надорванным углом, лежала перед ним. Солдатка Марфа Никитина. Трое детей. Муж, стрелок, убит на Кавказе. Самовар взят в лавке Елисеевых - формально кража. Фактически - что-то иное.

Он раскрыл папку и погрузился в показания. Писал околоточный: «Кричит, что не воровка, а дура. Самовар несла продавать, да уронила на мостовую, помялся. Теперь и продать нельзя. Дети плачут. Просит отпустить. Говорит, коли посадят - ребятишки по миру пойдут». Зарецкий перечитал трижды. Встал, подошёл к окну. Мысль заработала, но теперь он помнил урок: не жалеть - понимать. Искать детали.

Он взял лист бумаги и начал записывать вопросы. Почему самовар? Почему не продала что-то ещё? Есть ли свидетели того, что она действительно уронила его? Как жила до кражи? Кто её знает? Была ли она замечена в чём-то подобном раньше? Список получился длинный, и каждый пункт требовал проверки ногами. Он вспомнил слова Плевако: «Адвокат не тот, кто говорит, а тот, кто ходит».

Плевако заглянул через плечо, взглянул на список вопросов и впервые едва заметно улыбнулся.

- Уже лучше. Учитесь. Теперь идите и проверьте. Ногами, Зарецкий, ногами. Адвокат тот, кто ходит, а не тот, кто плачет.

Зарецкий кивнул и начал собираться. Он сложил бумаги в саквояж, проверил, есть ли деньги на извозчика. Впереди была Хитровка. Он ещё не знал, что встреча с Марфой Никитиной станет не просто его первым настоящим делом, но и первым уроком той самой гордыни сострадания, о которой он только что писал. И что именно там, в смрадном подвале, ему придётся выбирать между жалостью и правдой.

Когда он выходил, секретарь вдруг окликнул его:

- Господин Зарецкий, вам просили передать. - Он протянул маленький свёрток. Зарецкий развернул: это был кусок чёрного хлеба с солью, завернутый в чистую тряпицу. - От Фёдора Никифоровича. Сказали, на удачу. И ещё велели напомнить: «Не накормите своей жалостью - накормите фактами».

Зарецкий взял хлеб, чувствуя, как к горлу подступает ком. Он положил свёрток в карман шинели и шагнул за порог. Начинался его первый день в качестве ученика Плевако, и он был полон решимости пройти этот путь до конца - каким бы тернистым он ни оказался.

## Глава 2. Солдатка

Хитровка встретила Зарецкого запахом, который он не мог бы спутать ни с чем: кислая капуста, гниющие отбросы, карболка из ночлежек, мокрый угольный дым, застревающий в горле. Ноябрьский рассвет едва пробивался сквозь плотные тучи, и в переулках стоял серый полумрак, прорезаемый лишь жёлтыми пятнами керосиновых фонарей у трактиров.

Он вышел из пролётки на углу Подколокольного переулка, заплатил извозчику и остался стоять, оглядываясь. Москва здесь была другая - не та, что на Большой Дмитровке с её экипажами и нарядными вывесками. Здесь дома лепились друг к другу, как пьяные, подпирая друг друга плечами, окна без стёкол заткнуты тряпьем, на верёвках между домами висело мокрое бельё, застывающее коркой на морозе. По грязному снегу сновали оборванные мальчишки, бабы с вёдрами, старухи, похожие на тени. Пахло нужой - той самой, которая не кричит, а молча вдавливает человека в землю.

Отыскать Марфу Никитину стоило трёх часов и рубля мелочи, розданного местным мальчишкам. Мальчишки эти - босые, несмотря на ноябрь, с синими от холода губами - окружили его стайкой, вырывая друг у друга монетки.

- Барин, барин, дай ещё копеечку! Я знаю, где солдатка живёт, что самовар стащила!

- Врёшь, Петька, это я знаю! В подвале у Кривого дома!

Зарецкий поднял руку, и стайка притихла. Он выбрал самого бойкого - конопатого мальчишку лет десяти, с оттопыренными ушами и цепкими, как у хорька, глазами.

- Как тебя зовут?

- Гришкой кличут. А что, барин, дело какое?

- Проведёшь к Марфе Никитиной - получишь ещё пятак.

Гришка шмыгнул носом и махнул рукой:

- Пошли, барин. Только там такое дело... - он запнулся, оглянувшись на товарищей. - Там это... нехорошо.

- Что - нехорошо?

- Да старший их, Егорка, он бешеный. Может и камнем запустить. Он тут всех гоняет.

Зарецкий запомнил это имя: Егорка. Старший сын.

Дом без номера притулился к глухой стене Хитровской ночлежки - трёхэтажного мрачного здания с облупившейся штукатуркой, известного на всю Москву как «Утюг». В подвал вели ступени, скользкие от грязи и ледяной корки. Зарецкий спускался осторожно, держась за влажную стену. Внизу пахло так, что перехватывало дыхание: кислая капуста, гнилая картошка, мокрые пелёнки, застоявшийся дым. И ещё чем-то сладковатым - может быть, болезнью.

Дверь была приоткрыта. Он постучал. Изнутри послышался детский кашель - надсадный, с присвистом, какой бывает при грудной болезни. Женский голос ответил:

- Войдите, незаперто.

Он шагнул внутрь. Комната была крошечная, шагов пять в длину, с одним окном под потолком, затянутым промасленной бумагой. В углу - печка-буржуйка, сейчас холодная. Вдоль стены - топчан, накрытый драным одеялом, под которым лежали, прижавшись друг к другу, двое младших детей. Третий, старший, сидел в углу, скрестив руки на груди. Это был Егорка - худой, с острыми скулами, волосы светлые, давно не стриженные, глаза - злые, настороженные.

Марфа Никитина сидела на продавленном табурете у стола, на котором стояла пустая глиняная миска и лежала корка хлеба - видимо, единственная еда на сегодня. Зарецкий увидел её лицо и на мгновение замер. Ей было, наверное, лет тридцать, но выглядела она на все пятьдесят. Кожа землистого цвета, глаза ввалились, губы потресканы. Светлые волосы убраны под платок, но пряди выбивались, и в них уже заметна была седина. Она сидела, опустив плечи, и смотрела в пустую миску так, будто надеялась, что там появится еда сама собой.

- Вы адвокат? - голоса у неё почти не было, один хрип.

- Зарецкий, от Плевако, - он назвал имя патрона и увидел, как на мгновение в её глазах мелькнула искра надежды и тут же погасла.

- Самовар - правда, барин, - заговорила она тихо, не поднимая глаз. - Только он сломанный. Я его понесла продавать, а руки дрожали, уронила. Прямо на мостовую. Он и помялся. Теперь ни продать, ни вернуть. Кто ж так ворует? Никто. Только дура.

Она говорила без слёз, и это было страшнее плача. Зарецкий видел: человек смирился с тем, что его считают воровкой, и уже не пытается оправдываться.

- Почему судье не сказали?

Она подняла на него глаза - выцветшие, как у матери Зарецкого, но без той внутренней твёрдости, только пустота.

- А кто мне, бабе, поверит? Скажут - воровка, придумала. Я ведь и правда взяла. Зашла в лавку, огляделась - никого. Самовар на прилавке стоял. Я его под мышку - и бежать. Хотела

продать, купить хлеба, крупы... Хотела как лучше, а вышло - хуже некуда. - Она замолчала, потом вдруг добавила, и голос её дрогнул: - Я как мимо лавки Елисеева прохожу, так меня трясоти начинается. У них там - и масло, и сахар, и колбасы... А самовары у них просто так стоят, для красоты. И я подумала: неужели они заметят один? Глупая. Заметили.

Зарецкий слушал и чувствовал, как внутри поднимается знакомая горячая волна сострадания. Но он помнил урок Плевако и заставил себя думать холодно. Зависть к лавочнице - это не раскаяние. Это честное, неудобное чувство, которое она не пытается скрыть. И оно, как ни странно, делало её более живой, более настоящей.

Вдруг из угла подал голос Егорка. Он поднялся - оказался не таким уж маленьким, почти по плечо Зарецкому - и шагнул ближе.

- Чего пришли? - голос у него был ломкий, мальчишеский, но злой. - Денег дадите? А то все только смотрят и уходят. Мать не воровка, слышите? Она хорошая. Это я на рынке булку украл третьего дня. И позавчера - три картофелины. Меня сажайте.

Марфа ахнула, замахнулась, но не ударила - только застонала, схватившись за грудь.

- Егорка! Ты что говоришь-то! Окстись!

- А что? - мальчишка сверкнул глазами. - Правду говорю. Всё равно нам пропадать. Так хоть пусть знают: не ты воровка, а я.

Зарецкий присел перед ним на корточки. Их глаза оказались на одном уровне.

- Тебя как зовут?

- Егор. А вам какое дело?

- Егор, сажать тебя не за что, - сказал Зарецкий спокойно, хотя внутри всё дрожало. - Ты голодный, ты защищаешь мать и младших. Это не воровство, это отчаяние. Но если ты будешь воровать, тебя однажды поймают, и тогда матери станет ещё хуже. Понимаешь?

Егорка молчал, глядя исподлобья. Но в глазах что-то дрогнуло - то ли обида, то ли признательность.

- Я хочу помочь вашей семье. Но для этого мне нужно знать правду. Всю, без утайки. Расскажешь, как дело было в тот день?

Мальчишка засопел, потом кивнул. И рассказал. В тот день, когда мать взяла самовар, они не ели двое суток. Младшая, Анютка, плакала, просила хлеба. Мать ходила к лавочнику просить в долг - не дал. Ходила к батюшке - тот благословил, но денег не дал. Тогда она пошла к Елисеевым, чтобы попросить хоть какой работы - мыть полы или стирать. Но приказчик выгнал её: «Таких, как ты, тут сотни ходит». И тогда она увидела самовар на прилавке. И взяла.

- Она не воровка, - закончил Егорка шёпотом. - Она просто не могла больше смотреть, как Анютка плачет.

В комнате повисла тишина, только младшая девочка всё кашляла - надсадно, с присвистом. Зарецкий огляделся. В углу стоял помятый самовар, чёрный, с глубокой вмятиной на боку. Ни смеха, ни гротеска - просто тупая бессмысленность, символ всего, что пошло не так. Он подошёл, потрогал вмятину. Потом обернулся к Марфе.

- Марфа Никитина, я буду вас защищать. Но мне нужно, чтобы вы рассказали всё как есть. И вы, и Егор. И ничего не скрывали. Даже то, что вам стыдно говорить. Иначе я проиграю. А я не хочу проигрывать.

Марфа посмотрела на него долгим взглядом, и впервые за всё время в её глазах блеснули слёзы.

- Спасибо, барин. Я расскажу. Всё расскажу.

Она заговорила - сбивчиво, перескакивая с одного на другое. О муже-стрелке, убитом на Кавказе. О том, как не получила пенсию, потому что бумаги потерялись в канцелярии. О том, как продала всё, что можно было продать, включая обручальное кольцо. О том, как пошла к Елисеевым не воровать - просто попросить, и как её выгнали, и как обида и голод толкнули её на этот шаг.

Зарецкий записывал, но не в тетрадь - на отдельных листах, торопливо, стараясь не упустить ни одной детали. Когда она закончила, он сложил листы в саквояж и поднялся.

- Я приду завтра. И принесу вам еды. А вы пока никуда не уходите и ничего не предпринимайте. И ты, Егор, - он повернулся к мальчишке, - больше не воруй. Обещаешь?

Егорка шмыгнул носом и кивнул - угрюмо, но искренне.

Зарецкий вышел из подвала, и холодный воздух обжёг лёгкие. Он стоял на скользких ступенях, смотрел на серое небо и думал: «Вот оно, первое настоящее дело. Не бумажное, не учебное. Живое. И если я проиграю - эти дети пойдут по миру».

Он сунул руку в карман и наткнулся на смёрзшийся кусок хлеба, завернутый в тряпицу, - подарок Плевако. Он развернул его, отломил половину и вернулся в подвал. Молча положил хлеб на стол, кивнул Марфе и вышел снова. В спину ему смотрели три пары глаз.

На следующий день Зарецкий проснулся в своей камере при конторе с первыми петухами. Спал он плохо: снились ему дети Марфы, кашель Анютки, злые глаза Егорки, вмятина на самоваре. Он умылся ледяной водой из кувшина, надел чистую сорочку и сел за стол с твёрдым намерением распутать дело.

Первым делом он отправился в лавку Елисеевых на Тверской. Лавка была знатная, с зеркальными витринами, медными ручками, вывеской с золотыми буквами. Внутри пахло чаем, пряностями, копчёной колбасой. Приказчик, молодой человек с прилизанными волосами и перстнем на мизинце, встретил его настороженно.

- Чем могу служить?

- Я присяжный поверенный Зарецкий, помощник Фёдора Никифоровича Плевако. Расследую дело о самоваре, украденном у вас месяц назад.

Приказчик сразу подобрался, перстень блеснул.

- Ах, это! Так воровка уже поймана, дело закрыто. Чего ж расследовать? Она сама призналась.

- Я хочу осмотреть место происшествия и задать несколько вопросов. Это не займёт много времени.

Приказчик нехотя провёл его в подсобное помещение. Там, на полках, стояли самовары разных размеров - от крошечных дорожных до огромных, на десять стаканов.

- Вот здесь стоял украденный, - он указал на крайнюю полку у двери. - Марфа Никитина зашла под предлогом спросить работу. А когда я отвернулся - схватила самовар и бежать. Я за ней, но она скрылась в переулках. Сторож видел.

- Можно поговорить со сторожем?

- Отчего ж нельзя? Только он нынче болен, дома сидит.

Зарецкий записал адрес сторожа - оказалось, что он живёт неподалёку, в том же районе, что и Марфа. Это показалось ему любопытным, но он пока не стал делать выводов.

Он осмотрел самовары. Тот, что стоял у двери, был простой, медный, без особой ценности. Зарецкий попросил показать книгу учёта товаров. Приказчик замялся.

- Книга у хозяина. Он нынче в отъезде.

- Когда вернётся?

- Через неделю.

Зарецкий запомнил и это. Отказ показать книгу мог быть простой бюрократией, а мог - попыткой скрыть что-то. Например, что самовар был списан как бракованный.

Он вышел из лавки и направился к меднику. Того звали Силантий, он держал мастерскую в подвале на Сретенке - крошечную, но чистую, пропахшую канифолью и паяльным дымом. Старик с увеличительным стеклом на лбу возился над разобранным примусом.

- Кого Бог послал?

Зарецкий представился и изложил дело. Силантий выслушал, покивал, потом снял очки и сказал:

- Интересно. Вы, барин, не первый, кто про этот самовар спрашивает. На прошлой неделе приходил человек от Елисеевых, просил написать бумагу, что самовар-де был новый и стоил не меньше трёх рублей. Я отказал.

- Почему?

- А потому что я этот самовар помню. Старый он был, латаный. Я его прошлой весной ещё чинил - дно запаивал. Ему цена красная - тридцать копеек, и то если покупатель дурак. А Елисеевы хотели, чтобы я написал, будто он новый. Я и отказал. Не хочу врать.

Зарецкий почувствовал, как сердце забилося быстрее. Вот она, деталь, которая может перевернуть дело.

- Силантий Палыч, вы могли бы подтвердить это в суде? Письменно или устно?

Старик задумался, поскрёб бороду.

- Письменно могу. Только вы мне за бумагу заплатите, а то чернила нынче дороги. А устно - не знаю. В суд идти - время терять. А у меня заказы.

- Я заплачу. И за бумагу, и за время.

Силантий кивнул и взялся за перо. Через полчаса у Зарецкого в саквояже лежала бумага с оценкой самовара: «Самовар медный, старый, латаный, с двойным дном. Рыночная стоимость - не более тридцати копеек».

Теперь у него был факт. Не слеза, не эмоция - факт.

Он вернулся в контору и до вечера работал над делом. Писал запросы, составлял хронологию событий, сверял показания. Плевако заглянул в каморку раз, другой, ничего не сказал, только хмыкнул. Зарецкий знал: это хороший знак.

К вечеру он пошёл к сторожу лавки - тому самому, что видел, как Марфа убежала с самоваром. Жил сторож в том же районе, что и Марфа, и Зарецкий ожидал увидеть нищету, но ошибся. Дом был крепкий, с резными наличниками, в сенях пахло пирогами. Сам сторож, пожилой мужик с окладистой бородой, сидел у печки в чистом тулупе.

- Болею я, барин. Простудился. Чего изволите?

Зарецкий задал несколько вопросов: видел ли он сам момент кражи, узнал ли Марфу, что именно видел. Сторож отвечал путано, сбивался.

- Ну, видел, как она бежала с самоваром. Лица не разглядел, но платок узнал - красный.

- А она была в красном платке? - уточнил Зарецкий. Он помнил, что Марфа была в сером.

- Ну... может, в сером. Темно было.

- В котором часу это случилось?

- Да обеденное время было. Солнце светило.

- А вы сказали, что темно было.

Сторож замаялся, закашлялся в бороду. Зарецкий понял: показания шиты белыми нитками. Возможно, сторож вообще ничего не видел, а его заставили дать показания - или он сам решил выслужиться перед хозяином.

Он не стал давить, поблагодарил и ушёл. Теперь у него было три опоры: оценка медника, путанные показания сторожа и отсутствие учётной книги у Елисеевых. Этого могло хватить для защиты.

Ночью он снова сидел в каморке, перебирая бумаги. Подготовил проект речи - сухой, без единой эмоции, только факты. Но что-то не давало ему покоя. Он вспомнил слова Плевако: «Для защиты надобно сердце, но не в бумаге - в груди». Он отложил проект и начал писать заново. Теперь он обращался не к судье, а к присяжным. И не как юрист, а как человек, видевший подвал и слышавший кашель Анютки.

Он писал до рассвета. И когда наконец отложил перо, ему показалось, что он нашёл нужные слова.

Суд состоялся через три дня. Судебная палата была полна - дело считалось резонансным из-за имени Плевако, хотя сам мэтр сидел в заднем ряду, давая ученику слово. Зарецкий знал,

что Плевако будет оценивать каждое его слово, каждый жест, каждую паузу. И от этого волнение только усиливалось.

Прокурор, молодой красавец с университетским значком и перстнем на мизинце, начал первым. Он говорил гладко, красиво, с хорошо поставленным голосом. Обличал: «Святость собственности поправа! Если каждый голодный возьмёт, что ему нужно, - страна рухнет! Закон един для всех, и никакая нужда не может оправдать кражу! Подсудимая призналась - так пусть же и несёт наказание, как положено по закону!»

Присяжные слушали сухо. Марфа сидела на скамье, опустив голову, и не шевелилась. Только пальцы её мелко дрожали, перебирая край платка.

Настала очередь Зарецкого. Он встал. Горло пересохло. Пальцы комкали бумагу с заготовленной речью. Первые слова дались как хрип:

- Я не буду спорить с господином прокурором. Он прав: закон един для всех. Кража есть кража, и этого никто не отрицает.

Пауза. Тишина. Зарецкий обвёл глазами присяжных - не всех сразу, а каждого по очереди: пожилого купца с окладистой бородой, молодого мещанина в косоворотке, дворянина с усталым лицом.

- Но позвольте мне показать вам одну улику. - Он извлёк из саквояжа бумагу, подписанную медником Силантием. - Вот заключение мастера, который ещё прошлой весной чинил этот самовар. Самовар старый, латаный, с двойным дном. Его рыночная стоимость - тридцать копеек. Тридцать копеек, господа присяжные. Это не кража ценной вещи. Это отчаянный поступок женщины, которая надеялась продать хлам, чтобы накормить детей.

Он передал бумагу присяжным. Они зашептались, разглядывая заключение.

- Теперь я хочу задать вопрос. Почему Марфа Никитина взяла именно этот самовар? Почему не взяла денег из кассы - а касса была открыта, я проверил. Почему не украла что-то более ценное, что можно было спрятать в карман - серебряные ложки, например? Ответ прост: она не умеет красть. Она не воровка. Она просто мать, которая больше не могла смотреть, как её дети умирают от голода.

Он повернулся к Марфе, и она подняла на него заплаканные глаза.

- Её муж, стрелок, убит на Кавказе. Пенсию ей не дали - потеряли бумаги в канцелярии. Она продала всё, что имела, включая обручальное кольцо. В тот день, когда она взяла самовар, её дети не ели двое суток. Двое суток, господа присяжные. А младшая дочь больна грудной болезнью и кашляет так, что слышно через три стены.

Он сделал паузу, давая этим словам осесть в тишине.

- Я не прошу вас оправдывать кражу. Я прошу вас понять: если вы сейчас накажете эту женщину тюрьмой, вы оставите на улице троих сирот. Они будут голодать, побираться, замерзать в подворотнях. А через десять лет, возможно, старший из них, Егор, будет стоять перед вами уже не за кражу булки. И тогда вы спросите себя: а можно ли было этого избежать? Можно. И это зависит от вашего вердикта сегодня.

Он сел. Молчание длилось долго, почти минуту. Потом прокурор что-то возразил, но без огня, без прежней уверенности. Он чувствовал, что присяжные уже не с ним.

Присяжные совещались тридцать пять минут. Возвратились хмурые. Старшина, пожилой купец, развернул лист:

- Не виновна.

Марфа рухнула на колени прямо на дощатый пол. Зарецкий помог ей подняться. Она вцепилась ему в рукав, губы её дрожали.

- Барин... я правда уронила... правда...

- Я знаю. Теперь идите к детям. И помните: вы не воровка. Вы - мать.

У выхода, в полумраке коридора, его остановил Плевако. Положил руку на плечо - жест, который он позволял себе крайне редко.

- Не за речь хвалю - за работу. Вы копали, а не плакали. Факты, а не слёзы. Запомните этот день, Зарецкий. Это было ваше первое настоящее дело. И вы его выиграли не сердцем - головой. Сердце вы оставили на потом, и правильно сделали.

Зарецкий молча кивнул. Он чувствовал опустошение - и одновременно радость, чистую, как родниковая вода.

Вечером в своей каморке он открыл тетрадь и записал: «Дело Марфы Никитиной. Урок: факт сильнее жалости. Но факт, поданный с состраданием, сильнее вдвойне. Оценка медника - тридцать копеек - решила исход. Показания сторожа развалились при первом же вопросе. Елисеевы пытались скрыть истинную стоимость самовара. Теперь они, вероятно, попытаются отомстить. Надо быть готовым».

Он отложил перо и долго смотрел на огонь свечи. Где-то далеко, за стенами конторы, за серыми московскими улицами, в подвале Хитровки трое детей сегодня не будут голодными. И это была его заслуга. Но он уже понимал: это только начало. И следующие дела будут сложнее, а враги - опаснее.

### Глава 3. Три дела на столе

Утро после оправдания Марфы Никитиной выдалось морозным и ослепительно ясным. Солнце, редкое для московского ноября, заливало кабинет Плевако холодным золотом, высвечивая каждую пылинку, каждый волосок на чучеле филина с жёлтыми стеклянными глазами. Зарецкий пришёл рано, ещё до открытия приёмной, надеясь застать патрона одного и, возможно, услышать похвалу - или хотя бы одобрительный кивок. Но Плевако уже был на месте. Он сидел, откинувшись в кресле, с чашкой остывшего чая в руке, и смотрел в окно на заснеженную Дмитровку с таким видом, будто читал в морозных узорах чью-то судьбу.

- А, Зарецкий. Проходите. Садитесь. - Он кивнул на стул напротив, не оборачиваясь. - Я тут подумал: хватит вам возиться с одним делом. Пора браться за несколько сразу. Настоящий адвокат всегда ведёт параллельно не меньше трёх-четырёх. Это дисциплинирует ум. Заставляет переключаться. Не даёт заикнуться на одной жалости.

Он повернулся к столу и положил перед собой три папки. Две верхние, пухлые, перетянутые бечёвкой - синие, с картонными корочками казённого образца, с инвентарными номерами в углу. Нижняя - тощая, с надорванным углом, в серой обложке, уже знакомая Зарецкому.

- Вот ваше меню на неделю. Верхние - банкротство купца Селиванова и спор наследников Талызиных. Тренировочные. Формальность, бумажная работа. Разберётесь. А нижнее... - он сделал паузу, постучал пальцем по серой обложке, - нижнее - солдатка Марфа Никитина. Вы её уже знаете. Вердикт вынесен, но дело не закончено: нужно оформить реабилитацию, проследить, чтобы решение суда не обжаловали, и, возможно, помочь с возвратом детей в школу. Этим займётесь параллельно.

Зарецкий взял папки, чувствуя их тяжесть. Толстые были не просто пухлыми - они были тяжёлыми, как булыжники, и от них пахло пылью, старыми чернилами и временем.

- Разрешите вопрос, Фёдор Никифорович?

- Разрешаю.

- Почему вы сразу не дали мне все три? Почему сначала - только солдатку?

Плевако усмехнулся в бороду, поставил чашку на подоконник.

- Потому что вы бы утонули. Вы бы схватились за бумажные дела, а солдатка бы ждала. А в её деле время работает против неё. Каждый день в тюрьме - это день голода для её детей. Я дал вам её первой, чтобы вы поняли: есть дела, где промедление - смерти подобно. А есть дела, где излишняя спешка вредит. Вот и учитесь отличать. Это чутьё, Зарецкий. Ему не учат в университете. Оно приходит с опытом. Или не приходит.

Зарецкий слушал, стараясь не упустить ни слова. После процесса Марфы он начал относиться к наставнику иначе: не как к грозному экзаменатору, а как к человеку, который сам прошёл через ошибки и теперь осторожно, но твёрдо ведёт ученика.

- И ещё одно, - Плевако подался вперед, и голос его стал тише. - Верхние дела - это не пустая формальность. Это школа. Если вы научитесь видеть человека за векселями - вы станете адвокатом. Если нет - останетесь писарем. А писарей у нас и без вас хватает.

Он махнул рукой, отпуская ученика. Зарецкий вышел, прижимая папки к груди. В приёмной уже толпились посетители. Секретарь, горбоносый старик в очках, встретил его кивком.

- Господин Зарецкий, сегодня принимаете вы. Фёдор Никифорович велели. Вот первые трое. - Он протянул три карточки с именами. - Начинайте.

Зарецкий сел за свободный стол в углу приёмной. Сердце колотилось. Это был его первый день самостоятельного приёма - пусть и под незримым присмотром Плевако. Он оглядел ожидающих. Их было человек десять, и каждый пришёл со своей бедой.

Первым подошёл мастеровой с подбитым глазом. Он был коренаст, в залатанном полушубке, руки - в ссадинах и мозолях.

- Никифор Квашнин, барин. Плотник с Пресни. - Он мял в руках шапку. - Третью неделю хозяин денег не платит. Я к нему пришёл, а он меня - с лестницы. Вот, видите? - Он указал на синяк. - И жену с детьми кормить не на что. Что делать, ума не приложу.

Зарецкий записал адрес, имя хозяина, расспросил о деталях: был ли договор, есть ли свидетели, платил ли хозяин раньше. Оказалось, что договора не было - только честное слово. Зарецкий объяснил, что без письменного соглашения дело сложное, но можно попробовать через мирового судью. Плотник ушёл, кланяясь, хотя в глазах его читалось сомнение.

Следом подошли две старухи в одинаковых тёмных платках. Они держались за руки, но было видно, что каждая тянет в свою сторону. Спор шёл из-за наследства - комода красного дерева, оставшегося от покойной сестры. Одна утверждала, что комод обещан ей лично при жизни сестры. Вторая - что комод должен быть продан, а деньги поделены поровну. Зарецкий терпеливо выслушал обеих, записал детали, пообещал разобраться. Старухи ушли, переругиваясь шёпотом.

Затем подошёл молодой человек в потёртом сюртуке. Он нервно теребил шляпу, оглядываясь.

- Господин адвокат, я по делу о долгах. Мой отец умер, оставив векселя на три тысячи. Я студент, денег у меня нет. Кредиторы грозят описать имущество. Помогите.

Зарецкий записал и его. Поток посетителей не иссякал: вдова с жалобой на соседа, перегородившего проход к колодцу; лавочник, у которого полиция изъяла товар по ложному доносу; старый солдат, требующий пенсию за увечье. К полудню Зарецкий исписал десять листов заметками, адресами, вопросами. Он чувствовал, как голова идёт кругом, но вместе с тем - странное воодушевление. Каждый из этих людей видел в нём надежду. И он не имел права их подвести.

Когда поток иссяк, он выдохнул и откинулся на спинку стула. Секретарь подошёл, поставил перед ним стакан холодного чая.

- Ничего, привыкнете. У Фёдора Никифоровича в иной день до вечера народ стоит. И всем нужно помочь.

Зарецкий кивнул. Он разложил перед собой три папки Плевако и понял: приёмная работа - это лишь верхушка айсберга. Настоящая битва начнётся сейчас, когда он откроет эти синие обложки.

Первое дело - банкротство купца Селиванова. Зарецкий развязал бечёвку, раскрыл папку и погрузился в бумаги.

Купец второй гильдии Трофим Кузьмич Селиванов владел мануфактурной лавкой в Замоскворечье на Большой Ордынке. Торговал сукном, ситцем, бархатом, бумазеей - словом,

держал дело крепко, на широкую ногу. В иные годы его выручка доходила до двадцати тысяч рублей. Но три года назад что-то пошло не так. Конкуренты открыли рядом две новые лавки, переманили приказчиков, демпинговали по ценам. Поставщики взвинтили проценты. Селиванов начал брать займы - сначала под проценты, потом под залог имущества. Кредиторы, почуяв запах крови, требовали возврата досрочно. В итоге долгов набралось на сорок тысяч рублей, а выручка упала до трёх тысяч в год. Суд признал банкротство. Теперь семнадцать кредиторов делили остатки имущества, и каждый тянул одеяло на себя.

Зарецкий начал с реестра кредиторов. Список был внушительный. Первым стоял банкир Ливенсон - десять тысяч под закладную на дом. Далее - купец Прохоров, четыре тысячи под векселя. Потом - мещанин Гусев, триста рублей за поставку тесьмы и пуговиц. Этот Гусев, мелкий лавочник, и был клиентом Плевако, а значит - и Зарецкого.

Он составил таблицу на трёх листах: имя кредитора, сумма, дата займа, процент, залог, дата подачи иска. Сверял даты, подписи, приложения. И наткнулся на странность.

Закладная на дом Селиванова была оформлена задним числом. В бумаге значилось двенадцатое марта, а нотариальное заверение датировалось двадцатым апреля - когда Селиванов уже официально был признан несостоятельным. Это означало, что банкир Ливенсон, возможно, не просто кредитор, а сообщник, пытающийся вывести имущество из конкурсной массы до того, как его арестуют за долги. Зарецкий перепроверил трижды, перечитал сопроводительные письма, сравнил почерк на разных страницах. Ошибки быть не могло.

Он отложил перо и задумался. Формально его задача - представлять интересы Гусева, мелкого кредитора, которому причиталось всего триста рублей. Но теперь он видел, что за спиной Гусева стоит махинатор Ливенсон, который может увести всё имущество, оставив мелких кредиторов ни с чем. Что делать? Прямо обвинить банкира в подлоге он не мог - для этого нужны были доказательства, экспертиза, свидетельские показания. Но он мог заявить ходатайство о приостановке раздела имущества до выяснения обстоятельств. Это дало бы время.

Он записал в тетради: «Селиванов. 1. Проверить закладную Ливенсона. Дата не совпадает с нотариатом. 2. Сверить даты с бухгалтерской книгой Селиванова (хранится в архиве суда). 3. Опросить соседей - когда Селивановы выехали из дома. Если до оформления закладной - значит, документ подложный. 4. Найти свидетелей, видевших Ливенсона в конторе Селиванова в апреле. 5. Составить ходатайство о приостановке раздела имущества». Он понимал: это дело не на одну неделю. Но медлить нельзя - счёт идёт на дни.

Он закрыл первую папку, потянулся, размял затёкшую шею и взялся за вторую - спор наследников Талызиных. Здесь всё было иначе: не цифры и векселя, а семейная драма, растянувшаяся на два года.

Умер богатый помещик, отставной гвардии поручик Аркадий Петрович Талызин, не оставив завещания. Его вдова, Анфиса Петровна, женщина шестидесяти трёх лет, претендовала на усадьбу в Тверской губернии, триста десятин земли и доходный дом в Москве на Остоженке. Но внезапно объявился дальний племянник из Саратова - Симеон Талызин, утверждавший, что он - единственный наследник по мужской линии. Племянник предъявил метрики, письма покойного, свидетельства саратовского нотариуса. Вдова, в свою очередь, пыталась доказать, что племянник - самозванец, и прилагала к делу показания крестьян, которые «точно помнили», что у покойного не было братьев. Дело тянулось два года, обросло встречными исками, экспертизами, жалобами в Сенат.

Зарецкий читал и чувствовал, как в нём поднимается брезгливость. Это был не спор о справедливости - это была грызня за имущество, в которой обе стороны не брезговали ничем. Племянник, судя по его письмам к поверенному, был человеком циничным и грубым: «Запросите побольше, авось вдова уступит, старая дура. Ей помирать скоро, а нам жить». Вдова, напротив, писала трогательные, почти слёзные письма о своей любви к усадьбе, о верности памяти мужа. Но среди бумаг Зарецкий нашёл записку её сестры, адресованную поверенному:

«Анфису не жалеете, ей деньги не нужны, ей покой нужен. А вот нам с мужем - очень даже». И он понял: за спиной старухи стояли её родственники, которые использовали её имя для собственной выгоды.

Самое неприятное открытие ждало его в медицинском заключении. Анфиса Петровна Талызина страдала тяжёлой грудной жабой. Врач писал: «При любом волнении возможен летальный исход. Рекомендуются полный покой и устранение от судебных разбирательств». Но сестра и её муж не только не устранили её от дела - они фактически заставляли её подписывать бумаги, ездить в суд, давать показания. Каждое заседание могло стать для неё последним.

Зарецкий сжал кулаки. Он представил себе эту старую женщину: больную, усталую, одинокую. У неё не было детей. Муж умер. Единственное, что у неё осталось, - усадьба, где они прожили вместе тридцать лет. И теперь чужие люди, прикрываясь её именем, пытались отсудить эту усадьбу, рискуя её жизнью.

Он записал: «Талызины. 1. Опросить вдову лично, без сестры и её мужа. 2. Узнать, чего хочет она сама, а не её окружение. 3. Проверить метрики саратовского племянника - возможно, они поддельные. 4. Поднять вопрос о медицинском заключении - может ли вдова участвовать в процессе. 5. Если нет - требовать переноса дела до её выздоровления или передачи прав законному представителю». Это был рискованный шаг: формально сестра и была законным представителем. Но Зарецкий подозревал, что в случае смерти вдовы сестра с мужем тут же откажутся от иска, получив от племянника отступные. А значит, их интерес - не в победе, а в затягивании дела.

Он закрыл вторую папку и некоторое время сидел неподвижно. Оба дела, такие разные, сходились в одном: за формальными бумагами, за векселями и метриками стояли живые люди. И каждый из них - со своей правдой, своей корыстью или своей болью. Понять это было первым шагом. Вторым - решить, как действовать.

Он вспомнил слова Плевако: «Если вы научитесь видеть человека за векселями - вы станете адвокатом». Кажется, он начинал понимать.

Вечер наступил незаметно. Зарецкий просидел над бумагами до темноты, пока секретарь не заглянул в приёмную и не сказал с лёгким удивлением:

- Господин Зарецкий, вы бы шли домой. Или в свою каморку. Уже девятый час.
- Да-да, сейчас.

Он собрал бумаги, отнёс папки в кабинет Плевако и ушёл в свою каморку. Там, при свете сальной свечи, он раскрыл тетрадь и долго сидел, глядя на чистую страницу. Мысли теснились, перебивая друг друга.

Наконец он обмакнул перо и начал писать - медленно, тщательно, как будто вырезал буквы на камне.

«Три дела - три урока.

Дело Селиванова: банкротство. Урок: за бумагами стоят не просто цифры, а люди, которые рисковали, ошибались, хитрили. Адвокат должен видеть не только статьи закона, но и человеческую мотивацию. Кто стоит за кредитором? Чего он хочет на самом деле? Ливенсон, судя по подложной закладной, - махинатор, который пытается обмануть суд. Гусев - мелкий лавочник, для которого триста рублей - вопрос выживания. Сам Селиванов - возможно, не мошенник, а неудачник, раздавленный конкуренцией. Правда где-то посередине, и найти её можно только через факты.

Дело Талызиных: наследство. Урок: за спором двух сторон часто скрываются интересы третьих. Сестра вдовы, муж сестры - они не фигурируют в иске, но именно они диктуют стратегию. Адвокат должен видеть скрытых игроков. И уметь отличать, чего хочет клиент, от того, чего хотят за его спиной. Анфиса Петровна, возможно, хочет просто умереть в своём доме, в покое. Но её покой приносят в жертву чужой корысти. Это не правовой вопрос - это человеческая трагедия.

Дело Марфы Никитиной: кража. Урок: формальное - часто пустое. Самовар стоил тридцать копеек. Кража есть кража - но дух закона требует учитывать соразмерность. Нельзя судить голодного так же, как сытого вора. Суд мы выиграли. Теперь нужно проследить, чтобы решение не обжаловали, и помочь с возвратом детей в школу. Это не адвокатская работа - это просто человеческая обязанность.

Общий вывод: адвокат - не судья и не исповедник. Он - переводчик. С языка фактов, цифр, статей, параграфов - на язык человеческих судеб. И наоборот: он переводит человеческую боль на язык, понятный суду. Без этого перевода правосудие слепо.

И ещё один урок, не записанный, но самый важный: Плевако дал мне три дела не просто так. Он хотел, чтобы я сам увидел разницу между формальным и настоящим. Между векселем и самоваром. Между процентом и детским кашлем. Между чужой корыстью и чужой бедой. И я увидел.

Теперь осталось не растерять это понимание, когда придёт усталость. А она придёт».

Он перечитал написанное, аккуратно промокнул чернила и закрыл тетрадь. За окном, в морозной ночи, гудела Москва. Где-то далеко, в подвале на Хитровке, спала Марфа с детьми - теперь уже не в страхе перед тюрьмой, а с надеждой на будущее. Где-то в Замоскворечье, в пустом доме с опечатанными дверями, перебирал остатки товаров разорившийся Селиванов. Где-то в усадьбе под Тверью, у камина, сидела старая Талызина, не подозревая, что её жизнь - разменная монета в чужой игре.

Он знал о них теперь. И это знание не давало покоя.

Зарецкий задул свечу, разделся, лёг на жёсткую койку. Но сон не шёл. Он думал о том, что завтра ему предстоит принимать решения: по Селиванову - ходатайствовать о проверке закладной, по Талызиным - искать встречи с вдовой. Это были серьёзные шаги, и каждый из них мог иметь последствия. Ливенсон, узнав о ходатайстве, наверняка попытается надавить - через судью, через приставов, через подставных свидетелей. Сестра Талызиной, если заподозрит неладное, может вовсе изолировать старуху. А у Зарецкого не было ни опыта, ни связей, ни поддержки - только уроки Плевако и собственная тетрадь.

Он усмехнулся в темноте. Когда он шёл к Плевако, он думал, что адвокатура - это речи, пафос, скамья присяжных и благодарные слёзы оправданных. А оказалось, что это - пыльные папки, ночные бдения, таблицы, сверки дат, поиск свидетелей, усталость до рези в глазах. И он не был разочарован. Наоборот - именно эта черновая работа казалась ему настоящей, достойной.

Утром его разбудил стук в дверь. Он поднялся, накинул шинель, открыл. На пороге стоял Плевако со своей неизменной чашкой, от которой поднимался пар.

- Доброе утро, Зарецкий. Разобрались? - спросил он без приветствия.

- Разобрался, Фёдор Никифорович.

- И каков вывод?

Зарецкий на мгновение задумался, а потом ответил словами из своей тетради:

- Адвокат - переводчик с языка фактов на язык человеческих судеб. И наоборот.

Плевако поднял брови. Он явно не ожидал такой формулировки. Потом медленно, едва заметно улыбнулся в бороду.

- Запомните эту фразу, Зарецкий. Она стоит трёх лет университета. Можете записать в свою тетрадь.

- Уже записал, - признался Зарецкий.

- Вот как? Ну что ж, тогда вы готовы к следующему уроку. Собирайтесь.

- Куда, Фёдор Никифорович?

- У нас сегодня игуменья.

- Игуменья? - Зарецкий удивлённо уставился на патрона.

- Настоятельница Иоанно-Предтеченского монастыря, мать Амвросия. Обвиняется в подлоге векселей на сорок тысяч рублей. Дело громкое, публика будет толпиться, газетчики придут. Будет плакать, креститься и говорить о своей святости. Не верьте ни единому слову.

- Почему вы так уверены?

Плевако посмотрел на него долгим взглядом, и в его глазах мелькнуло что-то - то ли печаль, то ли предостережение.

- Потому что я знаю эту породу, Зарецкий. Праведники не попадают на скамью подсудимых по финансовым делам. Они вообще редко попадают на скамью. А если попадают - то либо жертвы, либо лицемеры. Разберёмся, кто она.

Он повернулся и вышел, оставив Зарецкого с ощущением, что предстоящее дело будет куда сложнее и опаснее всего, что он видел до сих пор.

Зарецкий быстро умылся, оделся, сунул тетрадь в саквояж и вышел в приёмную. На сегодня у него были записаны ещё трое посетителей, но мысли уже крутились вокруг таинственной игуменьи. Подлог векселей на сорок тысяч - это не краденый самовар за тридцать копеек. Это серьёзное преступление, за которое грозит каторга. И если Плевако прав, и мать Амвросия - лицемерка, то Зарецкому предстоит увидеть, как его патрон будет срывать маску с человека, прикрывающегося именем Бога. Это будет урок совсем иного рода - не о сострадании, а о разоблачении лжи.

А если Плевако ошибается? Если игуменья действительно невиновна? Тогда защита будет трудной вдвойне: против неё - не только обвинение, но и предубеждение даже собственного адвоката.

Зарецкий встряхнул головой, отгоняя лишние мысли. Сначала - посетители. Потом - бумаги по Селиванову и Талызиным. А вечером - подготовка к процессу игуменьи. День обещал быть долгим.

Он сел за стол, поправил стопку бумаг и крикнул секретарю:

- Приглашайте первого!

Работа продолжалась.

#### Глава 4. Дело игуменьи

Судебное заседание по делу настоятельницы Иоанно-Предтеченского монастыря игуменьи Амвросии было назначено на десять часов утра в здании Московского окружного суда на Кремлёвской набережной. Уже к девяти у подъезда толпился народ - дело обещало быть громким. Сорок тысяч рублей подложных векселей, монастырская казна, высокие духовные покровители, имя Плевако в качестве защитника - всё это будоражило московскую публику. Газетчики сновали в толпе с блокнотами, вынюхивая детали. Дамы в шляпках обсуждали скандал в полголоса. Студенты-юристы пришли поучиться у мэтра.

Зарецкий прибыл вместе с Плевако в наёмном экипаже. Всю дорогу патрон молчал, глядя в окно на заснеженную Москву, и только у самого здания суда произнёс, не оборачиваясь:

- Сегодня вы - наблюдатель, Зарецкий. Ни слова без моего разрешения. Смотрите, слушайте, запоминайте. Это не солдатка. Здесь другие ставки. Сорок тысяч - это вам не самовар за тридцать копеек. Здесь пахнет каторгой. А для монахини каторга - это смерть.

Зарецкий кивнул. Сердце билось чаще обычного. Он достал из саквояжа тетрадь - ту самую, с ночными записями, - и приготовился фиксировать всё, что увидит и услышит.

Зал был полон. Высокие окна с матовыми стёклами пропускали тусклый ноябрьский свет. Дубовые скамьи для публики скрипели под тяжестью зрителей. На возвышении - стол судьи, покрытый зелёным сукном, за ним - кресло с высокой спинкой и государственный герб. Слева - скамья присяжных, двенадцать человек: купцы, мещане, один дворянин, два крестьянина. Справа - место прокурора. И в центре, напротив судьи, - скамья подсудимых.

Когда ввели игуменью Амвросию, в зале наступила такая тишина, что стало слышно, как потрескивают свечи в люстрах. Зарецкий увидел её и на мгновение забыл обо всём.

Игуменья оказалась совсем не такой, какой он её представлял. Никакой суровости, никакого фанатичного блеска в глазах. Это была женщина лет пятидесяти, невысокая, с мягкими чертами лица и кроткими голубыми глазами. Одетая она была не в арестантское платье, а в чёрное монашеское облачение - рясу и клобук, который она сняла, войдя в зал, и теперь держала в руках. Светлые, почти седые волосы были аккуратно убраны под апостольник. Лицо бледное, с лёгким румянцем на скулах - не от косметики, а от волнения. Она шла мелкими шагами, опустив глаза, и только раз подняла их, обведя зал взглядом, полным такой искренней печали, что Зарецкий почувствовал, как у него самого сжимается горло.

- Смотрите на пальцы, - чуть слышно шепнул Плевако, наклонившись к его уху.

Зарецкий посмотрел. Пальцы игуменьи, сжимавшие край апостольника, были тонкие, белые, с аккуратно подстриженными ногтями. Но на подушечках большого и указательного пальцев правой руки он разглядел синеватые пятна - вьевшиеся чернила. Монахиня, которая, по её собственным словам, «никогда не прикасалась к мирским бумагам», имела характерные следы писчей работы.

Судья, пожилой статский советник с седыми бакенбардами и усталым лицом, открыл заседание. Секретарь зачитал обвинительное заключение. Суть дела была такова: в Иоанно-Предтеченском монастыре в течение трёх лет происходили финансовые махинации с векселями. Якобы от имени монастыря выписывались долговые обязательства на крупные суммы, которые затем учитывались в банках, а деньги исчезали. Общая сумма ущерба составляла сорок две тысячи рублей. Следствие установило, что подписи на векселях были поддельными, а бланки - краденными из канцелярии епархиального управления. Главной обвиняемой проходила игуменья Амвросия, в миру - дворянка Анастасия Павловна Верховцева.

Прокурор, молодой товарищ прокурора Московской судебной палаты, был тот самый красавец с университетским значком и перстнем на мизинце, который выступал по делу Марфы. Зарецкий узнал его сразу и внутренне напрягся. Тот говорил теперь ещё увереннее, ещё напористее - видимо, громкое дело давало ему шанс выслужиться.

- Господа присяжные заседатели! - начал он звучным, хорошо поставленным голосом. - Перед вами не просто дело о подлоге. Перед вами - дело о поругании святых. Женщина, облечённая высоким духовным саном, которой доверены были и души, и средства обители, использовала своё положение для личного обогащения. Под рясой, под клобуком, под личиной благочестия скрывалась хитрая и расчётливая преступница. Мы докажем, что векселя подделывались лично игуменьей Амвросией. Мы докажем, что деньги уходили на её личные нужды. Мы докажем, что она действовала не одна, а в сговоре с лицами, которых следствию ещё предстоит установить. И мы призовём её к ответу - перед законом и перед Богом!

Прокурор говорил ещё долго, минут сорок, зачитывая выдержки из бухгалтерских книг, показания свидетелей, заключения экспертов-почерковедов. Публика слушала затаив дыхание. Игуменья сидела неподвижно, опустив голову, и только пальцы её, те самые, с синими пятнами, мелко дрожали, перебирая край апостольника.

Когда прокурор закончил, судья предоставил слово защите. Плевако поднялся. Он не спешил, поправил жилет, оглядел присяжных - не всех сразу, а каждого по очереди, - и начал говорить. Голос его звучал негромко, почти буднично.

- Господа присяжные, я не буду спорить с господином прокурором. Он блестяще изложил обвинение. Факты, им приведённые, на первый взгляд, неопровержимы. Действительно, векселя подложные. Действительно, бланки украдены из епархиальной канцелярии. Действительно, ущерб составляет более сорока тысяч рублей. Всё это так. Но я прошу вас задать один вопрос: кто именно совершил это преступление? И здесь, господа, я вынужден разойтись с обвинением. Я утверждаю, что мать Амвросия - не преступница. Она - жертва.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.